

**-Я**

бы не полетел с тобой в космос, — сказал старик, отворачиваясь лицом к стене и скрипя пружинами санаторного матраца. — У нас с тобой эта самая, как ее?..

— Психологическая несовместимость, — подсказал я.

— Во-во, — подхватил он и снова повернулся, сверля меня взглядом мутных глаз. — Она, эта самая... Гляжу на тебя, как ты целыми днями валяешься на койке, ничего не делаешь и скучный, как бревно... Эх! Ты же молодой, у тебя почти ничего не болит. Подумаешь, сердце кольнет разок-другой... Не обращай внимания. Я инфаркт перенес, а посмотри на меня! Я же вполне бодрый старик! Для того здесь санаторий, чтобы забыть о болезнях... Слушай, где-то там у нас оставалось с полбутылки коньяку. Доставай-ка его сюда...

Эти полбутылки мы допивали со стариком небольшими дозами уже целую неделю, пользуясь мизерной рюмочкой, которую, как я подозревал, старик прихватил в одном из многочисленных баров Юрмалы.

Последние два дня за окном палаты бушевала метель. Был март, и мы со стариком, приехавшие в Латвию на берег моря, не могли понять, откуда свалилась

эта странная непогода. Внезапно, меньше чем за час, переменялся ветер, повалил хлопьями снег; причем метель была не такая, как у нас в центре России, когда снег и ветер действуют заодно и мчатся белыми жгучими струями, равномерно заполняя все пространство и неумолимо хлеща по лицу встречных прохожих.

Здесь, возле Балтики, метель началась совсем неожиданно — за десять минут. Среди полной тишины и покоя на лужи и на проталины, на уже открытый сухой асфальт мостовых и тротуаров повалил мягкий снег. Хлопья падали все гуще и гуще, словно из огромного мешка сыпали вату. И все было неподвижно, пока с моря не дунул ветер. Он усиливался с каждой минутой. Если первые порывы его шевелили снежную пелену, как огромную тюлевую занавеску, то вскоре он уже рвал и метал снежную ткань на части. Ветер мгновенно менял направление, и вскоре закрубились не только отдельные беспомощные снежинки, но и целые пригоршни носились в воздухе, снова раздирались на части, летели дальше, лепились в стволы сосен, наклонившиеся в сторону от моря, вихрились меж толстых мощных стволов, разбивались о дощатые стены корпусов санатория. Снег налетал со всех сторон.

Из-за такой невыносимой погоды мы со стариком вот уже два дня сидели в своей двухместной палате и от нечего делать ссорились друг с другом по пустякам. Укутавшись плотнее, ходили только в столовую да на процедуры.

— Ты молодой, а какой-то вялый! — упрекал меня Николай Иванович. — Я в твои годы не знал, где у меня сердце, не говоря уже о том, чтобы думать о каких-то болезнях. Я вот что тебе, братец, советую: плюнь ты на все хвори, живи с гордо поднятой головой как настоящий человек!

Старик вскинул голову, показывая, как я должен ее держать. При этом морщины на его шее разгладились, зато глаза закатились, как у покойника, а на щеках отвисли обрюзглые мешки.

— Не горюй, молодой человек. Я тобой займусь. Мне семьдесят пять, а я хоть куда. Конечно, я на пенсии, но когда я работал начальником автомастерской, все меня уважали, да что там уважали — все меня боялись, потому что я лодырям и таким вот вялым типам спуску не давал. Нет! У меня насчет этого не балуйся!

При воспоминании о былых днях старик разволновался, и пришлось выпить таблетку нитроглицерина, который он таскал с собой постоянно.

Николай Иванович при всех своих недостатках обладал одним громадным и несомненным достоинством — ночью он не храпел. И если днем он не давал мне ни минуты покоя, то ночью я спал спокойно.

В санатории, в общем-то, было неплохо. Здесь вкусно кормили, врач назначила мне лечение, и это поначалу здорово помогало, в библиотеке имелось много хороших книг, и я было взялся за чтение Джозефа Конрада, но тут ко мне подселили Николая Ивановича, и книгу пришлось отложить.

Старик постоянно суетился, вечно куда-то спешил, непременно чего-то хотел. Одно его желание сменялось другим, и каждое должно было быть непременно исполнено, тем более что Николай Иванович не любил откладывать дела в долгий ящик.

Несмотря на солидный возраст и перенесенный инфаркт, Николай Иванович выглядел достаточно живым и бодрым. Досаждал он лишь тем, что вел целеустремленный образ жизни и втягивал в это дело меня. Николай Иванович планировал каждый день, каждый час. Он хотел попасть

одновременно по множеству мест и куда не успевал. К тому же он был рассеянным и постоянно терял ключи от комнаты, санаторную книжку, билеты в кино, забывал где только можно перчатки, очки, перочинный нож, шапку и сумку с полотенцем для ванн. И мне, как молодому и резвому, приходилось разыскивать все это.

На второй или на третий день нашего пребывания в санатории старик, на мою беду, влюбился. Ему приглянулась полная розовощекая бабенка лет сорока. Николай Иванович решил во что бы то ни стало подружиться с ней и, посовещавшись со мной, утвердил план под условным названием «Розовощекая».

Суть плана состояла в том, что в качестве главной приманки, или, как говорил старик, «подсадной утки», должен был выступать я, более молодой и симпатичный. Добившись внимания незнакомки, мне следовало незаметно отойти в сторону, а вся любовь и внимание сорокалетней женщины автоматически переключатся на старика, наподобие того, как к дикому дереву прививают культурный побег яблони.

В тот же вечер по специальному заданию Николая Ивановича я узнал имя незнакомки. Ее звали Тамара. Такое успешное начало наших совместных действий обрадовало старика, и он поощрил меня маленькой шоколадкой. Еще накануне старик специально для розовощекой незнакомки закупил уйму разных шоколадок и рассовал их по карманам на всякий случай. Шоколадки в карманах грелись и постепенно таяли, превращаясь в мягкую коричневую массу.

— Она на тебя клюнет! — уверял Николай Иванович. — Провалиться мне на этом месте, если ты ей не приглянулся. Тут, откровенно говоря, тебе и конкурировать не с кем: в санатории молодых мужиков почти нету, разве что и наберется два-три ипохондрика вроде тебя... Так-то, дружок! Поверь бывшему сердцееду — она положила на тебя глаз! Уж я этих баб знаю... Жди! Главное, не спеши. Подойдет она к тебе сама, как рыба к блесне, а я ее цап-царап!

Николай Иванович хрипло смеялся. На лице его расплывались морщины, сверкали железные вставные зубы. Лицо его имело серый нездоровый цвет, хотя лечился старик усердно и воодушевленно, искренне веря в свое выздоровление.

— Мне врачиха назначила ванны, коктейль кислородный, уколы и прогревание на электрофорезе. Главное, юноша, это уколы! Без них мне крышка... Ампулы и все нужные лекарства у меня при себе. Я до того свою болезнь изучил, что разбираюсь в ней лучше любого профессора. Причем все лекарства у меня дефицитные, каких днем с огнем не найдешь. Слава богу, родственники достают по великому благу...

Я взглянул на коробочку, которую старик держал в руках, и желтая этикетка с красными поперечными полосками мне показалась знакомой; точно такую же я видел на столике у медсестры в процедурном кабинете среди прочих лекарств. Я сказал Николаю Ивановичу, что именно такое лекарство колют и мне, без всякого блага.

— Ерунда! — нахмурился Николай Иванович. — Не может этого быть. Ты, наверное, ошибся, или медсестра тоже по знакомству где-нибудь достала... Такое лекарство на дороге не валяется.

Все процедуры и назначения старик выполнял тщательно и усердно. При этом ему казалось, что медсестры лечат его с недостаточным старанием и не по правилам. Кислородного коктейля он требовал сразу по две чашки вместо положенной одной и, страдая после этого отрыжкой, всту-

пал в перебранку с женщинами, которые ругали старика за жадность и за то, что он задерживает очередь. На электрофорезе Николай Иванович лежал на пять минут больше положенного, считая, что это помогает его здоровью, и хитрил в ванной, манипулируя песочными часами, кряхтя от натуги в горячей воде.

С процедур он возвращался распаренный, с посиневшими губами. Старик ослабевал до такой степени, что еле передвигал ногами, а бледные волосатые руки его тряслись, как у алкоголика.

— Хорошо, хорошо... — бубнил он себе под нос, считая, что этими обильными процедурами он укрепляет свой организм. От этого ему вскоре стало хуже — поднялось давление, и дежурный врач прописал Николаю Ивановичу постельный режим. Старик утратил несколько процедур, он был недоволен. Однако, отлежавшись в течение двух дней, Николай Иванович вскоре начал ходить по палате, а затем и в столовую. Свято верящий в лекарства, он приписывал свое выздоровление двойной дозе уколов, которые он уговорил делать медсестру, приходящую к нам в палату три раза в день.

Он выздоровел и большую часть своей неукротимой энергии направил на то, чтобы поскорее завязать знакомство с Тамарой.

Пока все шло согласно плану. Вначале каждый раз с Тамарой заговаривал я, приглашал ее обычно в кино или на прогулку, а затем к нам присоединился Николай Иванович. Тамара постепенно привыкала к его присутствию, хотя была постоянно недовольна этим. Так или иначе, но вскоре мы уже повсюду ходили втроем. Правда, Тамара смотрела только на меня и разговаривала только со мной: старика это, конечно, бесило, но он терпел — потому что все шло согласно плану. Взгляд Тамары был настолько искренний и нежный, что мне становилось неловко — по отношению к ней я чувствовал себя предателем, а старика начинал ненавидеть.

Когда Тамара, наконец, поняла, кому из нас она больше нужна, она так взглянула на меня, что я был готов стать перед ней на колени и просить прощения. Но я промолчал и грустно отвел глаза, понимая, что вряд ли поправлю свое здоровье в этой компании.

Я готов был уже покинуть эту парочку, но старик, понимая, что без меня все дела его пойдут насмарку, не отпускал меня ни на шаг.

Однажды вечером, когда мы остались одни в комнате, состоялся крупный разговор. Я сказал, что мне наплевать на роман Николая Ивановича, что мне дороже всего свобода и здоровье.

Однако старик взял меня в оборот и уговорил продлить наш контракт еще на неделю. По его мнению, этого срока вполне достаточно для того, чтобы Тамара привязалась к Николаю Ивановичу и ходила бы с ним повсюду.

— Я должен тоже быть счастливым, — сказал старик, когда я уже засыпал. — Пусть я старый, так что ж из того? Каждый человек должен добиваться своего счастья. Иначе, какой же смысл жизни?.. Ну, ладно, спи, голубчик, на днях мы окончательно полоним Тамарку...

Постепенно все выходило по его замыслам — старик уже не мог быть без Тамары, а Тамара скучала без меня и, насколько я понял, у нее ко мне было искреннее чувство, какое только может испытывать женщина ее возраста, влюбившаяся в парня. Тамара, не стесняясь, часто подолгу смотрела на меня туманным пристальным взглядом. В нем легко можно было прочитать и грусть, и затаенную надежду на ответное чувство.

Все это можно было бы терпеть, если бы Николай Иванович больше

молчал. Но в присутствии Тамары он говорил, не переставая, обрушивая на нас поток ненужных, скучных или устаревших сведений. По самому ничтожному поводу он раздражался длинной тирадой. Рассказчик из него был никудышный. Старик заранее выкладывал всю соль рассказа, заверяя присутствующих, что сейчас они услышат «ужасно забавную историю», от которой лопнут со смеху. Начав говорить, Николай Иванович торопился, перескакивал с пятого на десятое, уходил в сторону от главной мысли, делая множество длинных и ненужных отступлений, вдавался в скучные подробности, часто сбивался, терял нить рассказа, чесал затылок, и шапка из прекрасного ондатрового меха сползала ему на глаза. В поисках нужного слова он заикался и смотрел по сторонам, точно надеялся увидеть написанный текст, по которому можно говорить дальше.

На экскурсию в Домский собор Николай Иванович ехал довольный. Еще бы! Он успел занять в автобусе два удобных места, и рядом с ним, покорно склонив голову, сидела Тамара.

— Ух, Тamar, смотри, какие домики! — бубнил старик на весь автобус. — С башенками, с финтифлюшками разными. Красота. Во время войны немец, когда драпал, ничего здесь не тронул — надеялся вернуться. Черта с два! Я здесь, Тamar, воевал, в медсанбате служил... Ух, как я воевал! Меня все офицеры уважали...

И Николай Иванович пустился в далекие воспоминания о том, как его любили командиры и какие одолжения он для них делал. Лишь когда за окнами замелькали пригороды Риги, он переключился на прежнюю тему и начал рассказывать Тамаре все, что знал об этом городе.

Автобус проехал мост и, завернув в узкую улочку, остановился. Прямо перед нами возвышалась громада Домского собора.

Николай Иванович протер очки и взглянул вверх. Мы с Тамарой последовали его примеру. Мне почудилось, что колокольня собора накренилась и вот-вот упадет прямо на нас, и от этой безмерной тяжести не убежать и не защититься.

Над зеленой крышей собора в сером мартовском воздухе важно и медленно парили птицы. Шорох крыльев гулко разносился над мокрой булыжной площадью.

— Вот, Тamar, это Домский собор, — продолжал Николай Иванович. — Семьсот лет стоит и хоть бы что ему. И еще десять тысяч лет простоит. Глянь, стены какие. Ни одна бомба не возьмет. И вообще он похож на космический корабль!

В двери собора входили люди. Мы не без робости влились в человеческий поток и вскоре очутились в концертном зале.

— Ух, как тут здорово! — шумел Николай Иванович. — Ты только посмотри, Тамара! Это вот колонна, там люстры, на потолке картина нарисована. Изображен, так сказать, бог. Здесь раньше, Тamar, молились.

Кое-как отыскивали свои места. Старик суетился, толкал зрителей, наступал им на ноги и хватался за первые попавшиеся стулья, загораживая дорогу. При этом он ухитрялся разглядывать внутреннее убранство собора и делиться своими впечатлениями с Тамарой.

Нам повезло — места наши оказались в центре зала, и мы хорошо видели орган.

— Смотри, Тamar, это орган... Да вот он, как же ты не видишь? Вон большие свистки — это и есть орган. Сейчас засвистят, тогда сама поймешь...

Людские голоса перекатывались под сводами Домского концертного

зала — казалось, под высоким потолком шестит огромная станиолевая фольга, наподобие той, которую сдирали с шоколадки Тамара.

Погас свет. Остались гореть лишь канделябры. Старик высморкался в серый носовой платок, и воцарилась тишина.

Откуда-то сверху и от стен зала возник рокот. Казалось, звучит весь собор. Орган переливчато и мощно играл, удивляя непривычной музыкой. Звуки то усиливались до гула реактивного самолета, то неожиданно стихали, переливались, словно катились с горы тысячи бубенчиков.

— Ах ты, господи, как играет. Как, собака, играет! — Старик приподнял очки и вытер слезы. — Надо же, как, дьявол, пробирает. Он играет, а мне кажется, я маленький такой ребеночек, на руках у мамки моей, будто целует меня она...

Тамара откусывала от шоколадки и терпеливо смотрела на органные трубы. Она не скрывала своей скуки и вертела головой, пытаясь определить, интересна ли музыка другим людям или все только притворяются.

— Когда же он кончит гудеть? — шепнула она мне на ухо и покраснела. Старик, заметив ее внимание ко мне, беспокойно завозился, выцветшие влажные глазки его недовольно скосились в мою сторону, однако, видимо, догадавшись, о чем идет речь, он довольно улыбнулся и взял Тамару за руку.

— Сиди, Тамар, сиди тихо. Я тебе эту прекрасную музыку потом объясню, а сейчас ты все равно не поймешь... Кстати, Володя, — обратился он ко мне, — что это за музыка? Бах? Как интересно... Хм... Это, Тамара, Бах! Понимаешь, какая редкая удача! Сам Бах для нас играет — знаменитый музыкант! По радио я сколько раз слышал: все Бах да Бах, а теперь он, видишь, как для нас наявливает... Терпи, Тамара, он еще долго будет играть.

Во втором отделении на балконе возле органа появилась певица. Ее маленькая фигура как бы подчеркивала громаду органа и собора. Женщина запела. В зал тихо выплыл ее голос, поддерживаемый чистым дыханием органа.

— Надо же, черт побери! — шептал восхищенный и растроганный Николай Иванович, вытирая глаза. — Что же это такое делается? Я, старый дурак, совсем расквасился. Вот стоит она там, поет — маленькая, как муха, а душу мою словно наизнанку выворачивает.

После концерта Николай Иванович ехал задумчивый. За окнами автобуса мелькали огни ночной Риги, разноцветные огни реклам, но старик смотрел прямо перед собой, словно что-то видел в своем воображении, и ничего не объяснял сидящей рядом Тамаре.

Но такое настроение Николай Иванович сохранял недолго. Приехав в санаторий, он опять начал болтать разную чепуху и замолчал только во сне.

...Каждое утро в семь часов старик будит меня на зарядку. Сам он на нее не ходит, но считает, что я обязательно должен появляться в спортзале.

— Вставай, вставай, дорогой, — теребит он меня за плечо. — Посмотри, какая благодать за окном! Метель кончилась, а снежок белый-белый!

— Не хочу. — Я отворачиваюсь и укрываюсь одеялом с головой, хотя знаю, что старик все равно не отстанет.

По утрам он всегда в хорошем настроении, бодрый и еще не измучен-

ный процедурами, мурлычет под нос какую-то мелодию, шаркает босиком по полу, то и дело лазит в тумбочку, гремя дверцей и стаканами. На белых стенах нашей комнаты мелькает и переливается бликами розовое сияние, излучаемое его кальсонами.

Старик начинает бриться и на несколько минут оставляет меня в покое. Бритва у него электрическая, допотопная, первого выпуска, рычит, как трактор, но уверенно косит седую щетину Николая Ивановича. Наконец, взвизгнув, бритва умолкает.

— Что же ты не встаешь, а? — Старик побрился, и выглядит помолодевшим. — Пора тебе на зарядку. Ну-ка живо поднимайся!

Я напрягаюсь, ожидая прикосновения его холодной шершавой руки. Так и есть — он щекочет меня, треплет легонько за уши, но рука у него теплая и какая-то необыкновенно мягкая, мне отчего-то хочется, чтобы он погладил меня по голове, как обычно ласкают маленьких...

— Вставай, нечего притворяться. Этакий богатырь, а лежит, как дите малое.

Встаю только для того, чтобы он отвязался от меня. Быстренько умываюсь, чищу зубы и, действительно, чувствую себя намного бодрее.

Когда возвращаюсь с зарядки, Николай Иванович выкладывает мне свой план на сегодняшний день. План этот учитывает, прежде всего, интересы Тамары и Николая Ивановича. Мои запросы настолько скромны, что никого не интересуют.

— После завтрака, — важно начинает Николай Иванович, — и после процедур отправляемся в Майори и обходим все магазины. Тамаре нужно купить какие-то тряпки и отослать их посылкой в ее деревню. Но самое главное — ей нужно купить сепаратор. В деревне его днем с огнем не сыщешь. Еще надо найти электровыжигатель для ее сына, потом купить десять банок лака, набор слесарных инструментов для ее мужа, губную помаду для племянниц и еще кое-какую мелочь для остальных родственников. После обеда повезем Тамару в большой универмаг. Вечером, после ужина, кино. Тамара желает посмотреть фильм «Кубанские казаки»... Знаю, что старый фильм, но Тамара хочет на «Кубанских казаков»...

Однако план портит экскурсия под названием «Рига обзорная». Тамаре на экскурсию не хочется, но старик, не посоветовавшись с ней, купил билеты. Делать нечего, надо ехать, хотя в этот день в Мелужи привезли дефицитную помаду коричневого цвета. Во время экскурсии Тамара ходила недовольная, поджав губы, старик тоже хмурился и плотнее укутался в пальто.

День выдался по-зимнему холодный, хотя на улицах Риги снега уже не было. От Даугавы, где среди серых льдин сверкала в проталинах вода, летел пронизывающий ветер. Старик мерз.

Красным утиным носом он наклонялся к уху Тамары и пересказывал то, что говорила молодая симпатичная латышка-экскурсовод.

Нам показывали старую Ригу. В узких улочках ветер гудел, как в трубах, и казался еще более холодным. Нос старика из красного стал фиолетовым, а Николай Иванович все бубнил и бубнил, заглушая временами экскурсовода. Внезапно Николай Иванович подпрыгнул, словно его укололи шилом.

— Дамский собор! — воскликнул он. — Смотрите, это настоящий Дамский собор. Я угадал, ведь правда? Мы с Тамарой здесь уже были!

Слегка сконфуженная, экскурсовод подтвердила это кивком головы.

— Только не Дамский, а Домский, — поправила она Николая Ивано-

вича с подчеркнутой вежливостью и тем самым немного отомстила старику за его назойливость и за то, что он мешает ей работать.

— Мы с Тamarой здесь уже второй раз! — выкрикивал Николай Иванович, когда мы спускались вниз по ступеням в гулкие помещения собора. — Мы здесь музыку слушали. Хорошая была музыка, товарищ Бах играл, такой музыки, наверное, никогда больше не услышу... Приятно встретиться со старым добрым другом, не правда ли, Володя! А собор — наш общий друг! Я готов хоть каждый день приходить сюда. Но друзья, рано или поздно, расстанутся...

Из всей экскурсии старику больше всего понравились знаменитые рижские кладбища.

— Какой порядок! — восхищался он. — Как тут все ровненько, аккуратненько. Каждая надгробная плита отполирована и расписана буквами. Но я, Володя, думаю, что если уж лечь навеки, то уж в свой родной черномозем, на деревенском бурьянном кладбище, чтоб травянистый бугорок был, а над ним деревянный крест, и чтобы росла надо мной черемуха, и чтобы она все время цвела...

Время в санатории текло быстро. Экскурсии следовали одна за другой. Как-то вечером нас повезли в русский театр, смотреть «Вишневый сад». Старик во время спектакля скучал и от нечего делать смотрел на сцену. Тамаре спектакль тоже не понравился — у нее от него разболелась голова.

Процедуры, экскурсии, магазины... Меня раздражал уже теперь не только старик, но и Тамара. Она оказалась дьявольски выносливой и могла целыми днями ходить из одного магазина в другой, часами выстаивала в очередях, и нам приходилось ждать, пока она купит какие-нибудь особенные туфли или колготки.

Мы таскались по длинной бесконечной Юрмале и прошли все без исключения магазины, начиная от Булдури и кончая Слокой. Чтобы лучше ориентироваться в названиях остановок электрички, старик выписал их на отдельный листок. Писал он на слух и при этом слегка изменял названия. Так, вместо Кемери он записал «Комары», вместо Вайвари — «Варвары», вместо Слока — «Склока».

После обеда, совершенно не отдохнувший от процедур, старик забирал все имеющиеся в нашем распоряжении сетки, сумки, авоськи, занимал тару у соседей по корпусу, и мы под предводительством Тамары двигались в магазины, обходя поочередно все «склоки», «комары» и «варвары».

В магазине при виде забитых товарами полок с лица Тамары спадала грустно-задумчивая маска, и появлялось другое выражение — мужественное и непреклонное. Она поджимала тонкие губы в строгую складку, глаза ее оловянно блестящие, и мы с Николаем Ивановичем отходили на второй план. Она начинала командовать нами: требовала, чтобы я становился в очередь в кассу, старика посылала в парфюмерный отдел.

Николай Иванович, желая ей угодить, суетился — шапка сползала ему на глаза, и он, словно слепой, тыркался в полки с товарами и толкал руками покупателей. Усталый, красный, с синими высохшими губами, он тяжело дышал и нежно смотрел на Тамару. Время от времени, когда ему становилось совсем туго, он доставал из кармана таблетку нитроглицерина и глотал ее, стараясь проделать это незаметно.

На обратном пути, когда мы, усталые и злые, тащились в санаторий,



Николай Иванович хватался за самые тяжелые вещи и нес их, широко раскрывая рот.

Я отбирал у него вещи, и старик, освободившись от тяжести, тут же принимался болтать.

— Деловая все-таки наша Тамара! — потихоньку говорил он мне, в то время как я сгибался под тяжестью раздутых авосек. — Купила сковородки, мясорубку, керогаз, уйму тряпок. У них в деревне ничего подобного не купишь, вот она и старается. Уже восемь тысяч рублей на покупки утратила!

А когда мы поехали за покупками в Ригу, я подумал, что старику и вовсе придет конец. Он, как всегда, устал после процедур, а тут еще снова испортилась погода — подул северный ветер, в лицо ударяла твердая, хлесткая крупа.

Мы с Тамарой, подгоняемые холодом, шли быстро, и старик отстал от нас, по крайней мере, метров на двадцать — его толкали озябшие прохожие, ноги Николая Ивановича скользили на тротуаре. Время от времени я украдкой оглядывался на него и пытался злорадствовать:

«Так тебе и надо, старый болтун! Будешь знать, как таскаться с бабами по магазинам».

Однако настоящей злости к нему не было. Я все ждал, когда же, наконец, Николай Иванович окликнет меня, но старик мужественно колтыхал на своих кривоватых ногах. Оглянувшись еще раз, я заметил, что глаза у него мокрые, причем под стеклами очков капли слез блестели очень ярко, словно к темным щекам старика прилипли стеклянные бузинки.

— Тамара, — сказал я негромко, чувствуя, как от стыда и жалости мне становится жарко и неудобно, — давай подождем Николая Ивановича.

Ветер в этот день был особенно неуютимый и яростный, словно приморская зима решила в последний раз показать свою силу.

Старик, покачиваясь, подошел к нам и, отдуваясь, вытер глаза рукавом. Я взял у него из правой руки картонный ящик с упакованным в нем сепаратором, и Николай Иванович отдал мне его без звука.

Немного постояли. Старик высморкался и огляделся по сторонам.

— Как здесь, в Риге, все интересно, — хрипло сказал он. — Гляжу и прямо не нагляжусь. Кругом люди, машины, дома... Поэтому специально отстал от вас, чтобы все как следует разглядеть... Ну так что же мы стоим? Идемте, идемте, дорогие мои люди. Вон уже и вокзал виден. Дошли, слава тебе господи!

В электричке старик отогрелся и вновь стал разговорчивым.

— Скоро, товарищи, весна! — разглагольствовал он, поглядывая в окно на чернеющие поля, на широкую, набухшую темной водой Лиелупе. — Скоро начнется сезон для охотников. Я ведь, Тамар, заядлый охотник! Кого я только ни бил — и лису, и волка, и зайца, и лося, и кабана. Всякого зверя добывал, какой только водится в наших краях. По пятьдесят километров в день пешком проходил! Ходите больше пешком, и у вас никогда не будет инфаркта...

Он немного помолчал.

— Вот подлечусь в санатории, приму положенные уколы и буду охотиться. Возьму ружье и пойду на уток. Эх, Тамара, если бы ты видела, как хороши дикие уточки!.. Ну, нет, не в супе, а вообще — в природе. До чего же они симпатичны, до чего умны. Даже когда подстрелишь ее, она все равно жить хочет и старается обхитрить охотника. Помнится, в про-

шлом году... или в позапрошлом... короче, ранил я утку, и ранил в крыло. Плюхнулась она в пруд и плывет. Я стреляю по ней: бабах! бабах! Так что же она, хитроманка этакая, делает? Она при каждом выстреле ныряет в воду, и дробь ее не берет — отскакивает. Ничем эту красавицу утку не возьму, совсем было от меня ушла, и только когда уже зарядил ружье пулей, тут-то я ее и убил... Так-то, дорогая моя Тамара, все жить хотят, таков закон природы... А как-то раз подбил я утку и ранил ее серьезно — она даже и плыть не может, однако еще живая.

Что же она придумала! Вцепилась клювом в сухой стебелек, который с берега свешивался, погрузилась под воду, выставила наружу только маленькие носовые дырочки и дышит!

Зверь, как и птица, борется за жизнь до последнего момента.

Однажды, лет десять назад, собаки мои погнали зайца. Так он что же, подлец, отмочил — побежал от собак прямо в деревню, заскочил в первый попавшийся дом, благо дверь была открыта, и кинулся под печку. Затаился там. Только от меня, от бывшего охотника, разве спрячешься? Так и выковырнул этого зайца из-под печки кочережкой...

Прогулки по магазинам не прошли для меня даром — я заболел. Старик старательно ухаживал за мной и при этом успокаивал, заверяя, что рано или поздно все мы умрем, что таков уж закон природы и ничего тут не попишешь! А когда пришла Тамара, чтобы пригласить нас в очередной поход по магазинам, то старик вывел ее за дверь нашей комнаты и взволнованно сообщил:

— Тамара, он заболел, придется нам сегодня побыть возле него... Ты уж извини...

В этот день они никуда не ходили, а сидели возле меня, и Тамара рассказала мне для успокоения несколько случаев, когда люди с безнадежно больным сердцем доживали до восьмидесяти лет.

Вечером Николай Иванович и Тамара пошли в кино. Впервые они были без меня, моя болезнь окончательно их сдружила, так что я мог считать свою задачу выполненной, хотя до отъезда оставалось несколько дней, и заняться собой мне было уже некогда.

Я лежал в постели, а они вечерами подолгу гуляли. Старик, возвращаясь в комнату, радостно сверкал глазами и приглушенным голосом рассказывал мне о своих любовных победах: в кино он взял Тамару за руку, и она не только не отняла ее, но даже положила сверху свою теплую ладошку.

Я тоже искренне радовался его сердечным успехам и выразил уверенность в том, что к тысячелетнему юбилею Домского собора Тамара, пожалуй, разрешит Николаю Ивановичу поцеловать себя в пухлую розовую щеку.

— Конечно, разрешит! — улыбаясь, продолжал старик. — Весна всех делает молодыми. Скоро растает лед в Рижском заливе, поплывут по горизонту белые корабли!

Я проболел до самого отъезда. В этот последний день было много хлопот: нам со стариком пришлось упаковывать три Тамариных чемодана и обвязывать коробку с сепаратором прочной бечевкой, потому что купленный в магазине шпагат был никуда не годен и то и дело рвался. Взглянуть в последний раз на Рижский залив мы так и не успели.

Первой уезжала Тамара. Она поцеловала старика в щеку, а меня крепко в губы и заплакала.

— Вот она, жизнь! — воскликнул Николай Иванович, глядя, как исчезает из виду последний вагон поезда, увозящего Тамару. — Стоит встретить человека, привыкнуть к нему, полюбить — и вот уже нет его. Нет совсем, будто и не было на свете.

Вторым отбывал я. Николай Иванович поцеловал меня в щеку мокрыми холодными губами, уколол своей жесткой щетиной.

— Пиши мне, — сказал он, — а я буду отвечать. Мы ведь встретимся, правда?..

Вагон дернулся и поплыл. Старик стоял на перроне и махал мне на прощанье драной кроличьей шапкой, которую ему подсунули в раздевалке вместо его хорошей ондатровой.

Обычно слезливый, несдержанный в проявлении чувств, он на этот раз не заплакал, а просто посмотрел на меня широко раскрытыми, помутившимися от тоски глазами, а костлявая, болезненно тонкая рука судорожно шарила в воздухе, словно старик хотел вцепиться в поручень вагона и остановить поезд.

## ЗЕЛЕННЫЕ БРЮКИ

В четырнадцать лет мне хотелось поскорее стать взрослым парнем, таким геологом из песни — бродить по тайге, возвращаясь вечерами в палатку, где меня поджидает любимая девушка, успевшая сварить суп из консервов. Вечерами возле палатки бродит тигр, а я отпугиваю его выстрелом из ружья.

В классе нашем, как мне тогда казалось, подобрались на редкость некрасивые девчонки, хотя ребята из параллельного класса были совсем другого мнения. Для любви требовалась тайна, но ни в одной из наших девочек я такой тайны не замечал. Я почему-то был уверен, что после окончания школы их никто не возьмет замуж — очень уж они скучны и неинтересны. К счастью, я ошибался, и наши девушки сразу после окончания школы, дружно, одна за другой, повыходили замуж. Но это случилось спустя несколько лет. А пока...

В один прекрасный день в класс привели новенькую. У нее было прохладно-взрослое имя — Вера. Разумеется, я влюбился в нее с первого взгляда, и некоторые другие мальчики в нее тоже влюбились и, как назло, моему лучшему другу Алику она тоже приглянулась. Наша с ним дружба стала глоснуть. Мы не ссорились. И все-таки дружба угасала, пропадала, и при встречах с ним у меня возникало ощущение странной неловкости.

Я вдруг осознал, что мой приятель из более обеспеченной семьи, и может позволить себе купить модную одежду. Алик, несмотря на малый рост, начинал тянуться к компаниям взрослых парней. Он уже покуривал и поругивался довольно-таки крепко.

Но в школу мы все еще по привычке ходили вместе. То я его поджидал возле колодца, то он меня — на перекрестке возле сельсовета. В пути болтали о разных пустяках. О погоде иной раз говорили, точно какие-нибудь старики.

Однажды Алик запоздал, и я отправился в школу один. Зато Алик заявился на второй урок в зеленых, крапивного оттенка, модных зауженных брюках и в яркой пестрой рубашке. Волосы на затылке впустил — нечто похожее на гривку подрастающего львенка. Алик вмиг заимел привычку резко откидывать голову назад — гривка при этом задорно покачивалась.

— Стиляга! Стиляга! — восхищенно перешептывались девочки, и смотрели на Алика совсем другими глазами. Наблюдая за ними в этот момент, я не мог не заметить, что и девочки наши как-то неожиданно повзрослели. Они тоже стали другими, похорошели, но Вера неожиданно и сразу стала недостижимой красавицей школы.

На перемене Алик по секрету сообщил мне, что на следующей неделе ему привезут из Москвы галстук с попугаями и рубашку с рисунком рассыпавшихся игральные карты. Тогда он, пожалуй, пригласит Веру в кино или на танцы.

Мой приятель недолго любил многие учебные предметы, а физику он и вовсе терпеть не мог. Ему не везло: пожилой преподаватель, Ефим Маркелыч, физику обожал и никому из нас поблажки не давал.

Однажды, стащив отцовское ружье, Алик взялся гонять бродячих собак. И так нечаянно вышло, что шальной заряд дробин влетел в окно нашего преподавателя. Дело было зимой — дробинки на излете пробили первое наружное стекло, а на второе сил у них не хватило — упали меж оконных рам.

Ефим Маркелыч аккуратно выбрал их оттуда, положил в спичечный коробок, принес в школу. Во время урока ходил меж парт, показывая ученикам эти злосчастные дробинки, хорошо различимые на бледной подрагивающей ладони. Сочинял на ходу задачу: давайте, уважаемые ученики, сравним силу выстрела пушки, ну, скажем... с обыкновенным охотничьим ружьем! В каком случае давление на единицу площади заряда больше? И с иронией уточнял, что хотя пушка и дальнобойнее, зато двустволка в руках Алика гораздо точнее.

Столы в кабинете физики возвышались амфитеатром, как в каком-нибудь старинном университете. Каждый ученик сидел на отдельном табурете и всегда знал свое место. Пересаживаться Ефим Маркелыч запрещал. Вдоль стен располагались высокие шкафы с приборами и наглядными пособиями. Зеркальные внутренности шкафов отражали не только приборы, но и спины учеников. Спины выглядели как-то странно. Совсем не так, как, к примеру, у зрителей в кинозале, но чуть напряженнее — ученики! Обернувшись к зеркалам, я с необычным любопытством и даже со страхом разглядывал тот класс — зеркальный, и других ребят, сидящих спиной к нам. Почему-то боязно было смотреть в глаза своему второму Я, будто он, мой двойник, был отличником, в то время как я, посясторонний, перебивался с троек на четверки.

Будто из колодца доносился ответ Ефима Маркелыча на свою же задачу про артиллерийский снаряд и дробинку — никто так и не смог правильно ответить. Оказывается, в обоих случаях давление пороховых газов на единицу площади заряда примерно одинаково.

Заделавшись стильгагой, Алик с особым тщанием стал ухаживать за своими ногтями. Карманы его оттопыривались от пилочек, ножичков, напильников, были в них пузырьки с лаком, плюс разные коробочки и футлярчики. Левый мизинец он холил особенно тщательно. На переменах старался не бегать — боялся сломать свой ноготь. С важным видом прохаживался по коридору, пряча левую ладонь за спину. А когда хотел кого-нибудь напугать, то неожиданно выставлял прямо перед лицом ученика свой знаменитый мизинец с блестящим длинным ногтем, похожим на маленькое лезвие. При этом Алик громко шипел, и всем становилось немножечко страшно.

На уроках учителя изредка упоминали о коммунизме. Хотя все реже

и реже о нем говорили... а я думал: что будет делать Алик в этом коммунизме со своим ужасным ногтем?

Учиться он стал совсем плохо. К доске выходил с неохотой, приволакивая ноги, словно инвалид, брезгливо брал в руки мел, тряпку — понюхает их и скорчит такую гримасу, что весь класс невольно хохочет. Записывал на доске условия задачи и все заранее знали, что он не сможет ее решить.

Как-то раз, возвращаясь от доски к своей парте с очередной двойкой, Алик вдруг ойкнул, дернулся, застыл на месте. Все услышали слабый хруст, будто сухая веточка переломилась. Нетрудно было догадаться, что произошло то, что рано или поздно должно было случиться: длинный ноготь, задев о край парты, надломился, повис на ниточке, и раскачивался, будто маятник. Такого ногтя ни у кого во всем поселке не было! Алик медленно обводил класс мученическим взглядом, стараясь заглянуть в глаза каждому ученику, чтобы каждый в полной мере оценил его страдания.

— Первый ноготь, сломанный Аликом в борьбе со знаниями! — прокомментировал со вздохом Ефим Маркелыч, перелистывая страничку классного журнала и собираясь вызвать к доске на сей раз не очень когтистого, но более головастого ученика.

Алик плюхнулся рядом со мной на табурет и минуты две лицо его хранило траурное выражение. Но жизнь, как говорится, берет свое. Потерю ногтя он решил компенсировать невинной забавой — достал из кармана старый пугач с позеленевшей медной трубкой и начал потихоньку им пощелкивать. Пугач был незаряженный — ржавый согнутый гвоздь под действием замызганной резинки мягко тенькал по свинцовому утрамбованному основанию.

Мне тоже захотелось поиграть в пугач. Не вытерпел, толкнул Алика: дай пощелкать!

Он нахмурился, кивнул в сторону учителя: отнимет...

— Я осторожно.

— Нель-зя! — отчетливо произнес Алик, широко открывая глаза и словно бы напуская в них хитрецу.

Шипящий категоричный тон его меня слегка обидел, я больше к нему не приставал, углубившись в решение задачи, условие которой только что продиктовал Ефим Маркелыч. И уже наполовину решил ее, как вдруг почувствовал толчок: на!

Медная трубка пугача была теплой от прикосновения ладони Алика. Я с удовольствием сжал в кулаке эту стертую, заигранную с детства трубку.

— Щелкай! Что же ты не щелкаешь?.. — толкнул меня локтем Алик.

Ефим Маркелыч заметил, что мы перешептываемся, и строго смотрел на нас, приподняв на лоб очки.

Я потихоньку, придерживая гвоздь, поигрывал пугачом. Щелки получились тихие, однако учитель насторожился, пытаясь определить, откуда они доносятся.

Мне показалось, что Алик от меня отодвинулся, но я не придавал этому значения. Раздался грохот, руку обожгло оранжевой вспышкой. Все вокруг заволкло дымом. Спичечная сера, которой Алик зарядил пугач, оказалась с сырцой. Шкафы с зеркальными внутренностями закружились перед моими глазами, и я очутился на полу, рядом с бесшумно упавшим табуретом. Надо мной склонилось смеющееся лицо Алика, высунувшееся, как луна из тумана.

Появился Ефим Маркелыч — седой венчик вокруг лысины плавал в дыму.

— Живой? — поинтересовался он своим всегда одинаковым голосом. — Ты что же это, братец, решил напугать меня, старого фронтовика, этой хлопушкой?

Я ничего не мог ему объяснить, потому что и сам сильно испугался. Ефим Маркелыч протянул мне руку, помог встать. Костистая ладонь его сильно дрожала...

На уроках физики, как, впрочем, и на остальных, Вера сидела с отсутствующим мечтательным видом. Ученицей она оказалась не ахти какой. Это ее задумчивое выражение совсем не нравилось нашим учителям, особенно насмешливому и принципиальному Ефиму Маркелычу, который готов был стерпеть любую шалость и сразу же прощал ее, если она хотя бы отдаленным образом была связана с действием физических законов, которые сам шалун мог хотя бы приблизительно объяснить — как в случае с Аликовой двустволкой. Но равнодушия к такому всеобъемлющему и замечательному предмету, как физика, он не прощал никому.

— Ты спишь, Вера? — спрашивал учитель нарочито вкрадчивым голосом. И постукивал мелом по доске.

— Нет, не сплю! — с вызовом отвечала наша красавица. И в классе наступала тишина. Слышно было, как в плохо промазанных щелях оконных рам посвистывает ветер.

— Думать нужно о предмете, а не о посторонних вещах! — выговаривал ей учитель. — Физика!.. Понимаете ли вы, что это такое? — он поворачивался лицом к классу, потрясая в воздухе длинными худыми руками, торчащими из стеганой ватной жилетки, словно спички из пластилиновой куклы. — Физику надо знать обязательно, без физики ты не человек. Ты можешь не уважать труд учителя, но ты обязан знать этот важнейший для человеческого общества предмет. Каждый школьник должен шагнуть в жизнь не болваном, не тупицей, но...

Он кашлял, беспомощно взмахивал руками. Легкие, простуженные на фронте, свистели, воздуха ему не хватало, и Ефим Маркелыч пытался завершить мысль энергичными взмахами нервных высохших ладоней. Правда, и он имел слабинку — не прочь был поговорить на отвлеченные темы. Произносил речь всегда вдохновенно, страстно, распаляясь от собственных слов.

— Я вас не только учу, но и воспитываю! — часто повторял он, поднимая тонкий указательный палец.

Пользуясь этой его слабинкой, мы часто задавали вопросы, не имеющие прямого отношения к физике. Однажды Алик спросил учителя: а что такое любовь? При этом Алик красноречиво взглянул на Веру.

— Любовь? Это... кх-м... — Ефим Маркелыч тягуче кашлял, беспомощно скреб на груди телогрейку желтыми от курения ногтями. Переводил дух, собираясь с мыслями. — Любовь, уважаемые ребята, имеет к науке весьма отдаленное отношение. Чувство это лежит вне законов объективного мира, однако оно является проявлением стихийного разума, стремящегося поддержать всеобщее движение жизни к неопределенным пределам. Любовь, как частное чувство индивида, позволяет человеку найти в самом себе крупинцы душевного облагораживающего материала и вымостить им нехоженые тропинки юности!..

«Заведенный» учитель, увлекшись собственным красноречием, гово-

рил и говорил, не замечая времени, почти до конца урока. Спohватившись, доставал из кармана часы с пожелтевшим циферблатом, щурил глаза, удивленно хмыкал. Звенел звонок. Ефим Маркелыч молча разводил руками, совершенно не понимая, как это вместо конкретной физики, он мог говорить о столь необъяснимом и технически бесполезном предмете — о любви!

В один прекрасный день Ефим Маркелыч вызвал Веру к доске и попросил рассказать все, что она знает про электромагнит.

Вера неспешно прошла к доске, задумчиво остановилась возле лабораторного стола, уставленного физическими приборами. Ничего похожего на магнит она, кажется, не видела... Позже она призналась, что всегда представляла магнит в виде подковы, а тут...

— Не находишь здесь магнита? — изумленно переспросил Ефим Маркелыч. Седые брови его грозно шевельнулись. — Ты не видишь его именно здесь, на столе? В таком случае загляни под стол, может, там его обнаружишь...

Аккуратно придерживая юбку, Вера, не привыкшая к шуткам учителя, заглянула под стол. Но и там, на пыльных досках, не было никакого предмета, напоминающего подкову.

Класс гремел от хохота. Мальчишки ревели от восторга, и Алик тоже смеялся: симпатичная наша новенькая, но здорово тупая. Никак не может сообразить, что электромагнит — это катушка проволоки с железным сердечником.

Вера оглядела всех нас поочередно. Взгляд такой, что хоть под парту от него прячься. Она еще сильнее покраснела, выпрямилась, смахнула со лба налипшую челку и с гордым видом вышла из класса.

— Обиделась... — бормотал старый учитель. — Почему обиделась? Зачем?.. Физика! Ее знать надо, уважать. Без физики нынче никак нельзя...

Не помню, кто из наших ребят придумал подбрасывать Алика на руках, словно какого-нибудь деятеля. Алику эта затея поначалу не понравилась — маленьким и легким он казаться не хотел. К тому же он один из всего класса носил модные зеленые брюки и пеструю рубашку навыпуск. Когда тебя хватают за руки и за ноги и с криками «ура» начинают подбрасывать к потолку, словно какого-нибудь героя, то невольно задумаешься: а нет ли в этом скрытой насмешки?

Поначалу он вырывался, но вскоре затихал, стараясь принять важную позу: прижмуривал глаза, скрещивал на груди ладони — этаким забавным Наполеончик. Алик не мог не заметить, что девчонки, особенно Вера, с интересом поглядывают на него.

Я в этой забаве не участвовал.

Любое развлечение рано или поздно надоедает. На последней перемене Алик все еще взлетал к потолку в неподвижной позе, снисходительно улыбался, но уже как-то чувствовалось, что вот-вот его дружно уронят. Так и произошло: ребята вдруг разошлись по сторонам, вспомнив о других делах, а временный кумир полетел на пол. Я, заметив, что он падает, кинулся к нему, пытаюсь его подхватить, и мы оба упали. Я, наверное, ушибся сильнее Алика, потому что он упал на меня, как на подушку.

Девчонки засмеялись. Вера хохотала до слез, восторженно прищипывала ладонями по парте.

Алик, красный от злости, кинулся на меня драться. Так часто быва-

ет: начинаешь кому-нибудь помогать и оказываешься в дураках. Пришлось мне удирать от него в коридор.

Прозвенел звонок, ребята зашли в класс. Я решил дождаться учителя — при нем Алик не осмелится колотить меня. Угадав момент, когда Ефим Маркелыч неспешным шагом приблизится к двери, я быстро юркнул у него под рукой и сел на свое место. А где же Алик?.. Оглядевшись по сторонам, я с удивлением обнаружил, что в классе моего приятеля нет.

Мальчишки показывали пальцами в сторону доски, посмеивались, но я никак не мог сообразить, почему они так веселятся. Но вот и мне стало заметно, как в углу, возле подоконника, сама собой покачивается тумбочка. Оказывается, пока меня не было в классе, ребята затолкали разбушевавшегося Алика в тумбочку, приставили ее дверцей к стене. Обычно в этой обшарпанной тумбочке хранилась белесая сухая тряпка, огрызки мела. И большая, отблескивающая зеркальной фиолетовой поверхностью бутылка из-под чернил. На сей раз и бутылка, и заколяневшая тряпка находились на подоконнике.

Ефим Маркелыч, прокашлявшись, стал объяснять урок, всем своим видом давая понять, что уж сегодня-то он не намерен делать никаких лирических отступлений. Но все смотрели не на учителя, а на тумбочку, которая раскачивалась сама собой, словно живая, тихо посмеивались, прикрывая рты ладонями.

Наш пожилой учитель никак не мог понять, что же такое смешное мы увидели за его спиной. Он раза два обернулся, однако ничего подозрительного не заметил. Пожал недоуменно плечами.

Между тем Алику надоело сидеть в своей темнице. Он завозился, запыхтел, начал раскачивать тумбочку. Раскачавшись наподобие маятника, тумбочка грохнулась на пол.

Ефим Маркелыч вздрогнул, испуганно отпрянул. Пискнула расхлябанная дверца: из тумбочки, дурашливо улыбаясь, выполз на четвереньках Алик.

Старый учитель отдышался, отнял ладонь от сердца и приказал Алику стать в угол.

А тому того и надо — опять он в центре внимания! Всякую славу, популярность надо как-то поддерживать. Наш Алик, недолго думая, схватился обеими руками за горлышко огромной бутылки из-под чернил, вскинул ее вверх дном, держа горлышко возле улыбающегося рта. К губам бутылку не подносил, боясь испачкаться — естественное желание человека, стремящегося к дешевой славе. Изображая пьяницу, он глядел на Веру, довольный тем, что ей тоже весело.

Учитель снова обернулся, однако Алик быстрым движением успел спрятать бутылку за спину. Затем еще раза два изобразил пьющего из бутылки человека, вызывая слабеющую волну смешков и улыбок. Тогда он решил выстроить свою позу более энергично — расставил ноги, раскрыл рот на всю ширину, сделавшись похожим на птенца, требующего корма. Он прямо из кожи лез, чтобы заставить всех смеяться. И добился-таки своего — из горлышка бутылки, поставленной торчком, в его большой рот тонкой струйкой потекли невесть откуда взявшиеся чернила. Алик будто окаменел. От неожиданности он не мог даже пошевелиться. Рот его наполнился до отказа, щеки раздулись, как у хомяка. Меж плотно сжатыми губами пролегла резкая, будто нарисованная черта. Темные капельки сочились из уголков рта, оставляя после себя фиолетовые полосы.

Класс надрывался от хохота. Такого концерта у нас еще не было.



Ефим Маркелыч обернулся, всплеснул руками:

— Что с тобой, Алик? Тебе плохо?

Тот промычал в ответ что-то невразумительное, изо рта его вырвался фонтанчик чернил, обдавший ребят, сидевших на первой парте, в том числе и Веру, пытавшуюся защититься ладонями.

Не обращая внимания на хохот, Алик, совершенно потрясенный, снова опрокинул бутылку горлышком вниз, желая удостовериться, что на сей раз она действительно пуста. Чернил в ней не было! С испачканным лицом, покачиваясь и мыча, он поднял бутылку вверх и заглянул в нее как в подозрную трубу.

Последняя капля, скатившись по стеклу, попала в его открытый, злой как у коршуна глаз. Алик взвизгнул, нервно засмеялся и побежал вон из класса, к умывальнику в конце коридора.

Позже выяснилось, что дежурный подлил в бутылку чернил во время большой перемены.

— Но я же не знал, что Алик будет их пить! — оправдывался он.

После уроков побрели, как обычно, через спортивную площадку, и вдруг увидели под кустом акации стол, покрытый зеленой, в белесых пятнах, скатертью. По сравнению с молодой травой скатерть казалась серой, пыльной и невзрачной.

— Что здесь такое? — Алик замедлил шаг.

Я подошел к столу и потрогал стеклянную вазу, запотевшую от налитой в нее холодной колодезной воды, желтые душистые цветы, недавно сорванные, в росистых каплях — «барашками» называются. К середине мая они заполняют поляны на опушках. У этих цветов лесной влажный запах. Тут же стояла фанерная трибуна. Такой трибуны я больше нигде не видел, только в нашей школе. Еще, наверное, до революции сделана, в церковно-приходские времена — вся составлена из ветхих планочек и фигурных фанерок, скрепленных в нескольких местах медной проволокой. Трибуна покачивается от легкого весеннего ветерка, вот-вот взлетит, наподобие коробчатого змея. Опираясь на нее локтями или наваливаться всем телом нельзя. Тяжесть тетрадки она еще выдерживала, но учебник сразу кренил ее набок.

Неподалеку, прислоненное к дереву, мерцало оголенным уголком зеркало, завернутое в мешковину. В уголке отражался кусок синего неба и маленькая сизая тучка.

— Так сегодня же последний звонок для десятиклассников! — вспомнил вдруг Алик. И почему-то вздохнул.

Я уговорил Алика остаться на торжество: как-никак его старшая сестра оканчивает школу...

— Знаю, готовится сеструха речь толкать... — проворчал Алик нарочито презрительным тоном. — Всю неделю готовилась, учила текст, хлюпала носом... Вот и сейчас расплатится — видеть ее не могу!

Тут вышли из дверей школы, степенно шагая парами, нарядные выпускники, все с букетами цветов. Выстроились в шеренгу, зазвучали негромкие голоса. Благоухала в букетах свежесломленная сирень.

Директор произнес короткую речь. Он стоял за трибуной, стараясь не прикасаться к ней руками. А когда порыв ветра заваливал трибуну набок, директор успевал ее подхватить. Затем родители выступали с торжественными напутствиями и благодарностями в адрес наших замечательных педагогов. Одна родительница, пытавшаяся по незнанию опереться на

трибуну, опрокинула стакан с водой, залившей текст, написанный на листочке в клеточку.

Аликову сестру я сразу заметил. Она вроде бы и не очень волновалась, прижала букет черемухи к груди, слушает рассеянно торжественные речи, теревит край белого фартука, улыбается задумчиво, склонив к букету голову. Глаза ее с первых минут мероприятия заблестели от слез. Аликова сестра всем нравилась, не могла не понравиться. Когда я слышал о ком-то — «хорошая, милая, простая девушка!» — предо мной тут же вставал образ Аликовой сестры. Она была старше нас на несколько лет, но всегда, чуть ли не до самого замужества, играла с нами в разные игры. Я, наверно, любил ее странной детской любовью. Мне нравились смотреть на ее веселое лицо, словно бы освещенное крупными серыми глазами. Обыкновенная, не красавица, но что-то загадочное в ней, несомненно, было. Иногда я ловил себя на мысли, что думаю о ней.

По весне, когда на выгоне подсыхала земля, ребятня со всей улицы собиралась здесь поиграть в лапту. Я считался хорошим игроком — метко бил по мячу и быстро бегал. Бах! — и упругий каучуковый мячик взмывает в небо, повисает там крохотной точкой, затем стремительно снижается на край лужайки.

Когда Аликова сестра попадала в нашу команду, игра моя почему-то шла насмарку. Я мазал по мячу, не успевал вовремя добежать до «кона», и соперники часто «салили» меня подобранным с земли мячом. Зато она бежала быстрее меня, и всегда обгоняла, с улыбкой оборачиваясь на ходу. Платье развевалось на бегу, будто кипело. Мелькали длинные, чуть смуглые ноги.

Однажды я приготовился бить по мячу и вдруг заметил, что она остановилась слишком близко — готовилась бежать, — я чувствовал на своей шее ее теплое близкое дыхание.

«Отойди! — обернулся я. — Зашибу...»

Она усмехнулась, гордо подняла голову, поправила алую ленточку, стягивающую волосы, отступила на полшага.

Я ударил по мячу, но промахнулся, лаптушка чвакнула в мягкое. Аликова сестра, рванувшаяся было бежать, будто на стену натолкнулась. Схватила руками за лицо, онемев от ужаса и боли, затем повалилась на молодую зеленую траву.

Я стоял над ней совершенно растерянный с лаптушкой в руках, не зная, что делать. Из-под ее ладоней, прижатых к лицу, тонкими ручейками текла кровь, смешанная со слезами.

«Дура! — воскликнул я тихо, стараясь показать ребятам, что я не потерял самообладания. — Куда ты лезла? Ведь я тебя предупреждал!..»

Но неожиданно почувствовал, что и сам тоже плачу. Я быстро опустился на колени и с необъяснимой брезгливостью погладил ее по горячей, трясущейся от рыданий голове, по спутанным волосам с выбившейся из них красной ленточкой. Вокруг гомонили испуганные ребята. От ближайшего дома спешила на помощь старушка с чистой тряпичей в руках.

Аликова сестра перестала кричать, лишь судорожно всхлипывала. Я помог ей встать, повел под колонку умываться. Тут и чистая старухина тряпица пригодилась. Нос у нее от удара сделался круглым, раздутым, один глаз совершенно заплыл. Она достала из кармана кофты маленькое круглое зеркальце, взглянула на себя и снова отчаянно заголосила:

— Ты мне нос перебил! — и добавила, — не бойся, я никому не пожалуюсь!

— А я и не боюсь... — ответил я потухшим голосом.

Она ушла домой, и три с половиной дня в школе ее не было. Но вот она вдруг объявилась на большой перемене с синяком под глазом. И сама подошла ко мне первая:

«Полюбуйся, как ты меня изуродовал!» — она повертелась передо мной так и этак, словно манекенщица. На ней был новый свитер с рисунком в белую елочку. Он был очень ей к лицу и подчеркивал ее девичью фигурку.

«Нос нормальный, — сказал я. — В Греции у всех красавиц точно такие же носы».

Она как-то странно взглянула на меня, вздохнула и ушла свой класс.

Потом, когда она окончит школу и выйдет замуж, мне будет очень грустно. Я буду вспоминать о ней каждый день. А когда спустя год пришла весть о том, что она умерла после тяжелых родов, я несколько дней ходил сам не свой, избегая встреч с Аликом.

Но это было потом, а сейчас, на последнем звонке, она, классная активистка, начала произносить речь. Не выдержала — расплакалась, рыдалась.

— «Люби... Ми... Шко...» — передразнил ее Алик. — Смотреть противно. Вот выберут такую какой-нибудь депутаткой — она весь парламент слезами зальет!..

Он достал из кармана пластмассовую трубочку и начал обстреливать сестру комочками жеваной бумаги. Бумажная слизь прилипала к ее румяным раскрасневшимся щекам — она машинально отскребала бумажные нашлепки тонкими пальцами, словно мух отгоняла. Прощание со школой было для нее громадным событием, а на все другие мелочи она внимания не обращала. Но вот она все-таки повернула голову в нашу сторону, погрозила пальцем, улыбнулась: такие большие, а балуетесь как дети!..

Мы с Аликом стояли возле зеркала. Оно было чуть запыленное, и от этого казалось очень чистым, глубоким. В зеркале я видел краешек волейбольной площадки с белой новенькой сеткой, учительницу, выступающую с напутственной речью. Пожилая классная руководительница осторожно поглаживала краешек фанерной, подрагивающей от ее голоса трибуны: «Труд педагога трудный, но благородный!..» Казалось, эта ежегодно повторяющаяся речь заслуженной учительницы тоже неким фантастическим образом тоже отражается в зеркале и устремляется в небо — хранилище всех речей.

Зеркало показало стайку домашних голубей с крыльями кирпичного оттенка. Голуби порхали над спортивной площадкой, и шум от них был как от флагов, развеваемых ветром. Зеркало старательно выделило фиолетовые чернильные пятнышки на хмурой физиономии Алика.

Чьи-то руки подхватили зеркало и унесли прочь сверкающий зеркальный мир, вручили его директору — подарок от выпускников. Стеклоянная поверхность отразила его пожилое морщинистое лицо, белый пух по краям лысины. Он тоже заметил нас, благодаря зеркалу, кивнул приветливо и прощающе: дескать, я знаю, что оба вы — шалуны, но скоро тоже станете выпускниками и подарите школе точно такое же зеркало...

В нашем сельмаге продавались одинаковые зеркала, и каждый год выпускники, скинувшись деньгами, дарили на память школе такое вот зеркало. Зеркала в одинаковых рамках висели в раздевалке, в учительской, а в кабинете директора их было даже два. Одни зеркала разбивались,

другие пропадали, но кругооборот зеркал в нашей школе совершался неуклонительно.

Подбежала Аликова сестра, расцеловала нас обоих так стремительно, что мы не успели увернуться, обкапала слезами — сначала горячими, затем, как мне показалось, прохладными. Зато от Алика к ней на лицо перешли чернильные пятна.

— Да отстань ты! — осерчал Алик и швырнул на землю букет черемухи, который она ухитрилась ему вручить. Но она уже не обращала на нас внимания — целовала своих одноклассников Чернильные пятнышки, становясь все бледнее и расплывчатее, переходили на лица выпускников, дошли и до самого директора.

— Знал бы, что она такой печатный станок, измазался бы сильнее! — произнес Алик вроде бы слегка шутливо, но в то же время задумчиво. Ему, наверное, передалось грустно-лирическое настроение сестры. — В следующий раз нарочно погуще намажусь...

— Кто же тебя поцелует, дурачок, в следующий-то раз? — вздохнул я. — Следующего раза уже не будет.

Она и мне подарила в тот день веточку белой душистой черемухи. Я принес ее домой, поставил в банку и каждый день менял воду. Однако на четвертый день она пожелтела и завяла.

Училась новенькая неважно, зато участвовала во всех концертах художественной самодеятельности. И на школьной сцене выступала, и в местном клубе. Она исполняла лирические песни тогдашних советских композиторов. Голос у нее был не очень сильный, но приятный.

Я тоже записался в кружок самодеятельности при Доме культуры, чтобы и после школьных занятий видеть Веру. Я не мог не заметить, что с первого же дня она понравилась баянисту Курлыкину. Это был парень лет двадцати восьми — высокий, худой, в очках с толстыми линзами, за которыми мерцали умные насмешливые глаза. Пышный чуб забавно и лирически покачивался во время игры, когда Курлыкин вдохновенно наклонялся к баяну.

Он частенько выпивал на различных торжествах, и жена от него ушла вместе с маленьким сыном. Вот уже несколько лет Курлыкин жил один, снимая комнату у сварливой старухи, которая, однако, жалела его и частенько похмеляла, а в пору безденежья подкармливала музыканта супом. Иногда он ездил в соседний городок, чтобы повидаться с сынишкой. Возвращался в унылом настроении и запивал на несколько дней.

Курлыкин сочинил песню о прудах, считавшихся гордостью и украшением райцентра. Хор исполнял эту песню на всех смотрах, наш баянист получил за нее несколько призов. В узком кругу он демонстрировал свое умение нажимать на баянные кнопки обыкновенным граненым стаканом, зажатым в кулак. Таким способом Курлыкин исполнял несложные мелодии. Местный журналист собирался написать очерк под названием «Музыка в стакане», но почему-то передумал.

Влюбился баянист в мою Веру, и что-то мальчишеское появилось в его походке, в манере держаться на сцене — он уже не стоял спокойно, без напряжения, а словно бы все время порывался куда-то бежать. Длинная фигура все время клонилась вперед, к зрителям. Игра его тоже переменилась: баян рычал, пыхтел, а то вдруг начинал подвывать, словно выражал неудовольствие небрежной игрой лучшего музыканта поселка, гор-

дившегося тем, что успешно окончили два курса консерватории, а с третьего его выгнали за увлечение спиртными напитками.

Однажды, будучи в стельку пьяным, Курлыкин уснул за кулисами, на ворохе старых плакатов насчет строительства коммунизма, о котором начинали аккуратно и целенаправленно забывать. Ну и плакатики помаленьку снимали, заменяя их призывами к труду: девушек приглашали на трактор, а юношей — в почетные дояры. Курлыкин проснулся среди ночи со страшной болью в голове. Поначалу никак не мог сообразить, где он находится — уж не умер ли случайно и не попал ли прямиком в ад? Однако похрустывание плакатов, на которых он лежал и которые, как он знал, обещали земной рай, подсказали ему, что все идет нормально.

Шарил руками, нащупывая трубу отопления — эту спасительную нитку в безбрежном и плотном, как смола, мраке. Нашел трубу, эту свою всегдашнюю спасительную нитку. К утру она была едва теплая, пыльная. Но Курлыкин радостно вцепился в нее. Затем побрел вдоль стенки, пачкая ладони невидимым пеплом от всюду натянутых окурков.

Клуб еще в тридцатые годы был переделан из церкви — каждый шорох, будто гром, отражался под высоким, невидимым в холодном мраке потолком. Казалось, там, вверху, шагает кто-то другой — огромный и страшный... Упал со сцены в невидимый зал, разбил очки... Когда утром пришла уборщица и выпустила несчастного пленника, Курлыкин с огорчением вспомнил, что сегодня праздник, день работников сельского хозяйства и вместо должного похмелья, придется отработать вначале репетиции, затем два часа аккомпанировать на сцене во время концерта.

Я встретил его в то утро — унылого и хмурого, проклиняющего свою профессию музыканта, добровольного раба, который с утра даже похмельиться не может как следует. Мы поздоровались, ладонь его была жесткая и холодная, как у мертвеца. Он равнодушно смотрел сквозь стекла очков на экспонаты сельхозвыставки: аккуратные пирамиды фруктов, желтые пшеничные снопы с вислыми усами колосков, огромная тыква нежно-розового оттенка, по которой баянист машинально отстукивал ритм.

Я сказал, что все участники художественной самодеятельности уже собрались, только Вера запаздывает.

Курлыкин как-то странно взглянул на меня, тяжело вздохнул.

В углу, на низенькой фанерной эстраде, играла радиола, звучала пластинка с какой-то современной, входящей в моду «дерганой» мелодией. Баянист вдруг разразился гневной тирадой: какая там еще «новая музыкальная эпоха»? Что это за «современный танец»? Все вы ребята поп-топ-дураки!

И посмотрел на меня, хотя я не произнес ни словечка.

В артистической раздевалке, устроенной из бывших церковных клетушек и комнатушек, соединенных переходами и деревянными винтовыми лестницами, царил суета. Ребята, готовые к концерту, переодевались в национальные костюмы, громко болтали, хохотали, подшучивая друг над другом.

Курлыкин сплюнул себе под ноги и с досадой рассказал, как всю ночь блуждал в этих «церковных норах». Ему ли, музыканту высокого класса, едва не закончившему консерваторию, работать в таком захолустье?

В дверях показалась Вера в модном в то время сером плаще. Я ее в первый момент даже не узнал. Туфли на высоких каблуках звонко тюка-

ют по дощатому полу, тщательно вымытому в честь большого мероприятия.

Баянист, словно гренадер при виде царицы, вытянулся во весь свой двухметровый рост, отряхнул полу чуть помятого, в почти незаметных пятнах пиджака. Ринулся вдруг навстречу Вере, словно собирался сказать ей нечто важное. Остановил ее, что-то тихо спросил, сильно покраснел. Рыжие ресницы под линзами очков были прищурены, подрагивали, выдавая все его переживания.

Вера выжидательно, с легкой насмешкой глядела на него своими яркими, шоколадного оттенка глазами. Юная солистка догадывалась, что Курлыкин собирается, но никак не осмелится признаться ей в любви. Она вдруг громко рассмеялась и, стуча каблучками, скрылась в раздевалке.

Баянист вздохнул, вернулся к огромной тыкве-рекордсменке и начал снова выстукивать на ней ритм, все более нервный и учащающийся. Перестав стучать, вдруг повернулся ко мне и пожаловался, что в клубный буфет уже целую неделю не завозят пива: «Что за времена наступают? Неужели при коммунизме пиво совсем запретят?..»

Он смотрел в коридор раздевалки, где скрылась Вера, с таким видом, словно она была виновата в том, что в буфет не завозят никаких подходящих напитков, кроме яблочного сока в трехлитровых банках. С похмельной истеричной откровенностью он рассуждал о том, как много в этой школе лица юного, простого и чистого. Нежная припухлость губ, открытость взгляда, в котором пока еще нет ни грамма кокетства. Легкость и уверенность движений, детскость и женственность одновременно — из этих замечательных компонентов и образуется юность, которая всем нравится, без которых окружающая жизнь становится сухой, черствой, никому не нужной. На щеках у Веры, по выражению баяниста, дотлевало детство, окрашивая лицо пепельным оттенком приближающейся взрослости.

— Ушла! — машинально, словно бы никого не замечая, воскликнул Курлыкин. И задумчиво перешел к соседнему стенду. Возле ящика, доверху наполненного дарами природы, сидел местный садовод-любитель. Увидев Курлыкина, старик бережно, с выражением нескрываемой гордости подал ему гроздь винограда, выращенного в местных условиях. Баянист бережно принял угощение, тупо глядя на фиолетовые, в дымчатом налете, ягоды. Дернул одну виноградину, и она оторвалась с легким писком, кинул ее в рот, пожевал — удлиненное серое лицо его исказилось гримасой.

Садовод с тревогой смотрел на Курлыкина:

— Мой виноград не кислый! — огорчился старик, имея в виду выдающийся вкус плодов своего труда. — О моих сортах в газетах пишут, корреспонденты приезжают, пробуют и хвалят... Ко мне письма со всей страны идут!..

Вера готовилась к выходу на сцену. Дверь комнаты, где она переодевалась, чуть приоткрылась, и пока Курлыкин дегустировал виноград, я осторожно прошел в коридор гримерной, где витал запах духов и земляничного крема. Вера успела переодеться в белое концертное платье и, остановившись напротив зеркала, прихорашивалась. Светлеет, будто светился пушок над верхней, круто выгнутой губой. Трогательно розовела мочка уха, безжалостно проткнутая маленькой золотой серьгой. Различались микроскопические трещинки губ, подкрашенных тонким слоем помады. Краска на губах отражала квадратики узких бывшецерковных окошек.

Глядя на Веру, я снова вспоминал о коммунизме. Да, когда-нибудь наступит такой уровень жизни, когда люди перестанут стареть. И пусть не Вера, но ее дочь или внучка, останется навеки молодой и красивой... От таких мечтаний даже слезы навернулись на мои глаза.

— Ты чего здесь? — она выглянула в коридор, усмехнулась, как-то странно взглянув на меня и не закрывая дверь, а наоборот, широко распахнув ее, вернулась к зеркалу. На меня смотрело ее взрослое улыбающееся отражение.

Я тоже смотрел на нее и думал, что когда-нибудь Вера состарится, поблекнет. Я уже видел постаревших культработниц. У нее тоже будет семья, корова, поросенок и прочая домашняя живность, забулдыга-муж, вроде Курлыкина. Но и до самой глубокой старости она всегда и везде будет чувствовать себя моложавой шустрой артисткой. И во время домашних застолий, когда гости поют песню, тянут кто в лес, кто по дрова, она, хозяйка или гостья — все равно! — вдруг потребует от всех тишины и внимания: «А сейчас, дорогие друзья, я исполню для вас некогда популярную песню...»

Вера вспушила волосы гребнем, небрежным взмахом ладони откинула их назад. Укрепила локон, приложила сбоку белый пластмассовый цветок. Замерла, пальцы ее застыли над ухом, как восковые. Привстала на цыпочках, чтобы лучше видеть свое отражение, туманящееся от взволнованного дыхания. Холодное, с желтыми крапинками, все в трещинках, старое клубное зеркало, столько повидавшее всего в этом закоулке! Вера, видимо, пыталась отыскать в своем лице хоть какой-нибудь недостаток, но это ей не удалось — она тихо и радостно засмеялась.

Про меня в тот момент она совершенно забыла.

С началом лета агитбригада районного Дома культуры колесила по полям, выступая с концертами на токах, полях, полевых станах и пастбищах. Агитбригада называлась «Рябинкою» — все артисты были одеты в одинаковые, ядовито зеленого цвета костюмы с красными отворотами и манжетами. Руководила агитбригадой пожилая и болезненная Зинаида Дормидонтовна, всю жизнь проработавшая, по ее словам, в «сфере культуры». Седеющие волосы ее были связаны в небрежный пучок, припиленный к затылку.

Она всегда куда-то торопилась, охала, стонала по малейшему пустяковому поводу. Летняя программа выступлений ее утомляла, от бесконечной езды по полям у Зинаиды Дормидонтовны болела голова. В домашнем хозяйстве у нее была живность, которую надо было вовремя кормить — тут уж не до искусства. Знания, полученные лет тридцать назад в культпросветучилище позабылись, речь ее стала сбивчивой и простонародной. Даже с трибуны, подглядывая в текст, написанный на бумажке, Зинаида Дормидонтовна говорила примерно так: «Куды ж нам, артистам, ишшо двигаться с энтой устарелой программой? Хватит издеваться над работниками культуры! Мы тут некоторые аж заслуженные... Чаво ишшо от нас хотять? И пачаюу нас заставляють ездить в энти калхозы?..»

Но райком заставлял, и она выезжала. Когда в ДК объявлялась какая-нибудь проверяющая комиссия, Зинаида Дормидонтовна ни единого слова не могла сказать в свое оправдание, молча плакала, вытирая покрасневший нос платочком. И ни у одной, даже самой грозной комиссии, не хватало духу наказать эту несчастную женщину за полный развал рабо-

ты. Ограничивались выговорами. Каждый выговор, орошенный обильными слезами, благополучно забывался.

В концертах Зинаида Дормидонтовна выступала со стихами на патриотическую тему, переписанными из календарей и специальных клубных сборников. И стихи ей попадались грустные, и голос был плачущий, и комбайнеры, слушая ее в разгар обеденного перерыва, смущенно озирались по сторонам: усталая озлобленная женщина славит родную партию, обильный урожай, а от голоса ее мурашки по коже бегают!

Баянист в агитбригадovской «рябиновой» униформе казался тощим и старым, напоминая своим видом и выражением лица швейцара заходистого ресторана. Ребята дали ему прозвище «Рябина на коняке», — марка популярного в то время и сравнительно недорогого напитка. Курлыкин носил форму с видом рекрута, насильно призванного из высокого искусства в полуразбойную партизанскую армию. И форма у него с первых же дней помялась, покрылась сальными пятнами — он частенько отдыхал в ней в своем любимом уголке за кулисами, полеживая на ворохе старых «коммунистических» плакатов. Во время поездок в колхозы Курлыкин сидел обычно на заднем сиденье и грустил, обхватив баян обеими руками и навалившись на него щекой.

Наш старенький клубный автобус целыми днями колесил по проселочным дорогам. Мелькали незнакомые деревни, рощи, овраги. Автобус тряся на выбоинах, в моторе в у него что-то пищало, завывало, под сиденьями салона громыхали и перекатывались железяки, иногда довольно таки чувствительно ударяя по пяткам, пачкая светлые босоножки девчат мазутом.

— Коля, убери отсюда свой ужасный домкрат, он нам все ноги поотбивал и нагрязнил! — ругались девчата на шофера. Но Коля лишь похихивал и давал газу, от которого наш автобус начинал прыгать по кочкам с удвоенной силой — Зинаида Дормидонтовна ругалась на Колю матом и грозила уволить из ДК.

На крутые холмы автобус выползал с великим трудом, раскаленный фыркающий мотор задыхался от немощи. А когда автобус застревал в луже, мы выходили наружу и выталкивали его из колеи всеми нашими артистическими силами. А потом снова ехали на полевой стан, спрашивая дорогу у случайных путников и пастухов.

Парни-агитбригадовцы дергали Веру за косы:

— О чем мечтаешь, красотка?

Вера даже не оборачивалась, лишь отмахивалась вялым жестом ладони: отстаньте, болваны! Вот, дескать, стану знаменитой певицей, тогда вы, дураки, пожалеете, что издевались надо мной!

Любой предмет за окном автобуса чрезвычайно интересовал насмешников:

— Глядите, гусь с гусыней куда-то топают. Важные, переваливаются с боку на бок...

— А вон мальчишка на велике. Маленький, а уже в очках. Наверное, будущий музыкальный гений, вроде Курлыкина...

— И пруд показался. Эй, баянист, не хочешь ли освежиться?..

Курлыкин, отвлекшись от собственных печальных мыслей, требовал от парней, чтобы те заткнулись, иначе он за себя не ручается — надоел ваш примитивный агитбригадовский юмор! Упрекал Зинаиду Дормидонтовну: вы куда смотрите, уважаемая? Почему позволяете этим оболтусам дразнить начинающую талантливую солистку?.. Коллектив разлагается!..



— Ах, отстаньте вы все от меня! — кривила губы Зинаида Дормидонтовна, и слабая на слезу, как трехлетний ребенок, подносила к глазам скомканный платочек, вечно зажатый у нее в кулаке. — У меня от вас голова болит. И начальство нонеча с утра замечание сделало: мало, дескать, в вашей программе идеологического заряда... Ды-к разви ж с вами, крикунами и зубоскалами, сотворишь хоть какойную идеологию?.. Господи, когда же я от вас от всех отмучаюсь!..

Оборачивалась с переднего сиденья толстушка Лида, выступавшая с молдавским танцем, надувала обиженно щеки: надо сказать поварам, чтобы не спешили раздавать еду механизаторам во время обеденного перерыва на полевом стане. А то комбайнеры первым делом начинают хлебать борщ, а на выступления артистов ноль внимания.

Подъезжали к обочине поля. Выходили из автобуса. Баянист галантно подавал Вере руку, помогая сойти со ступенек на хрусткую стерню. Затем поправлял на груди баян, делая несколько пробных аккордов. Один за другим глохли моторы комбайнов, становилось тихо. Духмяно пахла свежая солома, золотившаяся в копнах. Глаза щурились от яркого дымчатого горизонта. Кричала стая грачей, прилетевших на обмолоченные поля подкормиться, шумел в лесополосе ветер, звякали посудой солидные неспешные поварахи.

Начинался концерт. Курлыкин хмурился: ему казалось, что зрители насмешливо смотрят на его испитое, нездорового цвета лицо. И он стеснительно клонил голову к баяну, будто укладывал ее на плаху. Ветер шевелил его кучерявые волосы, открывая раннюю лысину размером с юбилейный рубль, как подметили острые на язык агитбригадовцы.

Из шеренги «рябинок» выходила Зинаида Дормидонтовна, читала свои «ударные» стихи, затем плаксивым натужным голосом объявляла:

— А сейчас для ударников жатвы наша солистка Вера исполнит лирическую песню...

Вера — в белых туфлях с назеленными носами и мазутным следом от домкрата — выходила по хрусткой стерне на середину большого круга. Следом за ней, слегка сгорбившись, брел с баяном Курлыкин, на ходу подбирая кнопки голосов. Вера останавливается, взгляд ее направлен вверх людей и машин. На комбайнерах спецовки в пятнах мазута, пыльные неподвижные машины... Гулкое поле, грачи, перебивающие своим карканьем начало песни... Но это все временное, как бы ненастоящее. Там, за кромкой жаркого качающегося горизонта, — большие туманные города, неведомая судьба, успех или неудача...

Она пела, и голос ее был тонкий, будто прозрачный, как у ласточки, мельтешащей над полем. Прикрывал глаза толстый председатель, убаюканный песней и усталостью. Замирала возле парящей кастрюли повараха в белом колпаке, вытирала ладонью вспотевший лоб, тихо всхлипывала, узнавая в песне свою несостоявшуюся любовь. Мальчишка-штурвальный, прилепившийся к лесенке комбайна, уставился на Веру с открытым ртом — такой необыкновенной красивой она вдруг перед ним предстала. Юная солистка пела так взволнованно, с такой самозабвенностью, будто заранее была уверена в то, что на пути к удаче ее не остановят ни раннее замужество, ни дети, ни корова, которую надо доить трижды в день.

Зинаида Дормидонтовна поглядывала на нее и украдкой вздыхала.

Исполнив песню, Вера с какой-то недовольной гримасой возвращалась в строй артистов и смотрела в синее августовское небо, нервно покусывая нижнюю губу.

Я уже мечтал не о путешествии в тайгу, не о палатке на неизведанной поляне и даже не о схватке с тигром — мне срочно требовались такие же зеленые брюки, как у Алика. Я даже во сне видел их — тщательно выглаженные и аккуратно повешенные на спинку стула.

Алик, хоть ростом и пониже Веры, но как-то сумел уговорить ее ходить вместе с ним в кино и на танцы. Не последнюю роль здесь сыграла Аликова одежда кричащих расцветок. Лопатообразный галстук с изображением попугаев закрепил его победу окончательно. Купив билеты на танцплощадку, Алик и Вера, взявшись за руки, самозабвенно танцевали чарльстон.

Старики, пришедшие в парк отдохнуть, с неодобрением поглядывали на веселящуюся молодежь: разве это танцы?.. откуда взялась такая ужасная мода?.. куда вообще идет страна, забывшая о лозунгах коммунизма?..

Я пока еще робел заходить на танцплощадку — ярко освещенную, открытую взорам зевак. Обычно я стоял за изгородью и смотрел сквозь деревянные штакетины на Веру. В гомонящей подпрыгивающей толпе танцующих я видел лишь ее одну.

Заметив меня, она рассеянно кивала. Улыбка ее тонула в свете гирлянд, составленных из электролампочек.

Иногда я подходил к ним, к Вере и Алику, и мы разговаривали через забор. Я рассказывал о своей работе — устроился на кирпичный завод, чтобы подработать денюжку во время каникул.

Когда Алик уходил на минутку к парням, чтобы «стрельнуть» сигарету с фильтром — тогда они еще были в новинку! — мы с Верой смотрели друг на друга. Это был странный долгий взгляд, от которого мне становилось не по себе. В этот момент я чувствовал себя бесконечно счастливым. И в то же время видел перед собой какую-то пропасть, перешагнуть через которую я никак не мог насмелиться. Она осторожно протягивала мне свою ладонь, стараясь не оцарапать ее о грубые занозистые кольца. Я стискивал прохладные тонкие пальцы, с тайной быстротой отзывающиеся на мое пожатие. Я не мог смотреть на нее в этот момент: взор мой опускался. Разноцветные лампы лопыли кругами в глазах, слепя своим мигающим светом. Я чувствовал холодок чистой любви, смешанный с запахом старых ночных берез и едким дымом дешевых сигарет...

В июле я получил первую зарплату, съездил в Елец, купил на барахолке зеленые брюки. Они оказались коротковаты, но в ту пору это было даже модным — из-под моих брюк торчали ярко-красные, в белый горошек, носки. Шик-модерн! — мне позавидовал сам Алик! У него таких носков не было.

Но тут случилась беда — Вериного отца отправили руководить сельским хозяйством в другой район. Я даже не успел с ней попрощаться, она будто в воду канула, и до сих пор не знаю, как сложилась ее судьба. Алик успел познакомиться с другими девушками и меня тоже с ними познакомил. Но я никак не мог забыть Веру. Мне казалось, что кроме нее я уже никогда и никого не сумею полюбить.